

А-790,8 в.д.

АРАМИЛЕВ

В ДЫМУ ВОЙНЫ

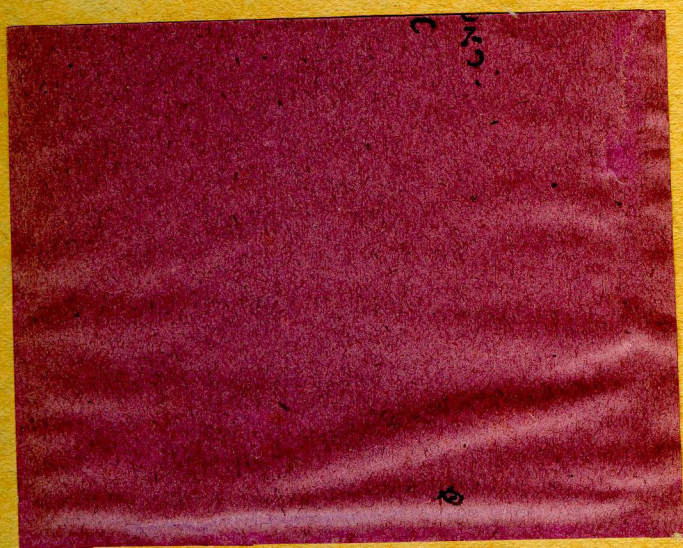
6/276

V.N. Karazin Kharkiv National University



00518718

4



72

A-790,86.8
95

34

В. АРАМИЛЕВ

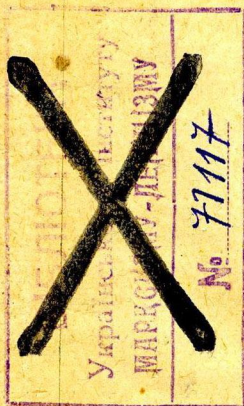
В ДЫМУ ВОЙНЫ

745

ЗАПИСКИ
ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩЕГОСЯ
(1914—1917 гг.)



Handwritten signature



19 ■ 30
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Проверено
ЦНБ 1939

58

1933

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	3
„ вторая	83
„ третья	174
„ четвертая	250
„ пятая	316

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Над городом мирно роняет первые звонкие, ведренные дни переломный месяц — август.

По утрам, когда лилово розовеет заря и курятся голубые туманы, из серебряной листвы садов перезвоном далеких колокольчиков разливается бойкий птичий стрекот.

Но все это кажется таким далеким и ненужным...

Жизнь — заласканная, убаюканная буднями, крепко стреноженная косными формами вековых традиций — вдруг слетела с своих обтертых петель и закружилась в дикой свистопляске, в буйной водоверти, в ощутимом предчувствии чего-то невиданно-жуткого и таинственного.

— Война!..

Я растерялся и не знаю, что делать. О продолжении научных работ, для которых по поручению университета я прибыл в эту глушь, не может быть и речи.

Меня могут призвать в армию.

Я, вероятно, вполне «созрел» для того, чтобы убивать и быть убитым.

Граве, мой помощник и однокашник по университету, советует срочно ехать в Москву и хлопотать об отсрочке...

Но выехать не могу: у меня в нескольких районах разбросаны инструменты, аппараты и работают люди по

моим заданиям. Для ликвидации дела нужно не менее двух месяцев.

— Будем ждать, — говорю я Граве.

Я третий день в уездном городке. Глушь несусветная раскачалась, и новым обликом щеголяют кривые переулки.

Идет мобилизация запасных. Город в нервозе, в животной панике, в тучах пыли. На улицах днем и ночью лихорадочное движение.

Раздражающе-зычный густой стон, дикие выкрики, истерические визги и плач женщин. Лохматый неумолчный гомон потревоженного людского муравейника время от времени прорывается отборной матерщиной, смертным хрипом и воплем венской гармошки...

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья...

Площади и улицы городка напоминают пьяную ярмарку.

У канцелярии воинского начальника гудит серая, безликая, звонкоголосая толпа.

Люди какие-то грязные, нечесанные, заспанные, раздраженные. По всем улицам бродят неуклюжие мужики с большими котомками за плечами, горланят песни, дикие и заунывные.

Для мобилизованных нет квартир. Казармы забиты доотказа пят на соборной площади на земле, подложив под головы землистые торбы с сухарями.

Бабы с ребятишками ютятся тут же.

Соборная площадь похожа ночью на скифское становище... Горят огромные костры.

От площади, колыхаясь, тянется в бездонную голубень небес широкая сверкающая полоса огня.

Парусом вздуваются огневые снопы и, стгорая в ломком хрустальном воздухе ночи, дробятся в ослепительном каскаде золотисто-оранжевых брызг.

Ветер бросает пригоршни искр по всему городу. Домовладельцы — им ведь костров разводить не надо: они сидят по своим квартирам — боясь пожара, жаловались воинскому начальнику, просили «прекратить» костры.

Но костры горят...

Бабы победоносно ворочают золотые головни, жарят на кострах ядреную картошку, сушат детские пеленки...

В городке много пьяных. Винные и пивные лавки закрыты, но, очевидно, не казенкой единой пьяна Русь.

Появились шинкари. Продают запрещенное вино по неслыханно высоким ценам. Городские мещанки оживленно торгуют хмельной бражкой и пивом домашнего изготовления.

В каждом домике с крашеными расписными ставнями, геранями на окошках — распивочно и навывнос.

Краснощечкие, сытые, грудастые девки лущат на крылечках семечки, зазывают гостей выпить и закусить.

*

В городке каруселью кружатся слухи, фантастические и наивные.

Центральные газеты приходят с опозданием, расхвываются с бою.

Все оказались грамотными. Все вдруг захотели читать газеты. Все поголовно интересуются политикой, международным положением.

Запасные все еще без толку бродят по улицам.

На загорелых, угловатых, щетинистых, иконописных лицах какая-то тупая покорность и плохо скрытая злоба.

Мужик помешали жить, растревожили его, как медведя в берлоге. Он сердится, но пока еще сам толком не знает, на кого: на немцев, на царя, на бога, на отечество... Разобраться ему не легко, но я знаю и чувствую — он в конце концов разберется. И агенты тех, кто гонит его на войну — я ясно это вижу — боятся его. Отсюда — эти «уступки» мобилизованным, отступление от твердых «правил», которым должно «следовать» «вверенное» начальству население.

В деревне самый разгар полевых работ, а бабы, приехавшие в городок с мобилизованными мужьями, ни за что не хотят уезжать домой, дожидаются отправки.

Они, как тень, как жалкие, покорные собачонки, бродят за мужьями, голосят, причитают, молятся утром на восток, на церковь.

Горе сразило баб. Лица у баб красны и вспухли от слез. Когда слезы застилают глаза, бабы поднимают подолы панев и действуют ими как носовыми платками.

Вышли с Граве погулять.

На прогулке случайно познакомились с местным «поэтом» Львом Анчишкиным.

Он кончил юридический факультет, а пошел по литературной части. Патриот. Крепко и убежденно ругает немцев. Пламенно любит французов.

Читает в оригинале Бодлера, Мюссе, Гюго. Считает себя западником, передовым человеком, разносит расейскую отсталость.

Показывая пальцем на всхлипывающих у воинского присутствия баб, он с жаром заговорил:

— Какое жалкое создание эта русская баба!.. Я вот смотрю на них из окна каждый день и думаю: не ошибка ли природы? Зачем, для чего они живут на свете? Ходят по городу и канючат вместе с ребятами. Кого это трогает? Плачущая баба «заслуживает не больше внимания, чем босой гусь», как выразился один из писателей Запада...

Тысячи лет живут — и никакого прогресса... При Рюрике, при Владимире, при Иване Грозном в юбку сморкались и сейчас вот, в двадцатом веке, в нее же сморкаются. И заметьте, не от бедности это, а от некультурности. Некультурность в крови русского народа...

— Эти вот Маланьи, Матрены — кариатиды, они переживают еще десятки войн и всяких революций, социальных и технических, а не сдвинутся со своей межи...

Через сто лет они так же будут лечить мочей трахому, наговором — сифилис, поить менструационной кровью своего любовника, во время ливня заворачивать юбку на голову и делать из нее зонтики. Нет, что вы ни говорите, а Лесков прав, утверждая, что «на русский народ хорошо смотреть только издали, когда он молится и верит».

И Достоевский прав, когда говорит что мы торопливые люди — слишком поспешили с нашими мужичками. Мы их ввели в моду, и целый отдел литературы несколько лет сряду носился с ними как с новооткрытой драгоцен-

ностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы... Русская деревня за всю тысячу лет дала нам лишь одного камаринского.

Какой-то «замечательный» русский поэт, увидев на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика».

А Достоевский ответил: «Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de l'impératrice («букет императрицы»). Я всех русских мужиков отдам за одну Рашель». Здорово? Правда?

Так исходит бешеной слюной ненависти к народу «западник». Граве сочувственно кивает ему головой.

Я молча шагаю в ногу с поэтом. Спорить не хочется. Мысли другим заняты.

На фоне развертывающихся мировых событий «проклятый» вопрос о русском мужике, имеющий многовековую давность, кажется таким праздным, неуместным...

Простились мы дружески. Обменялись адресами. Обещал заходить ко мне вечерами.

*

Партию запасных отправляли в губернский город. Бабы задержали отправку поезда на два часа.

Они точно походили с ума... После третьего звонка многие с причитанием бросились под колеса поезда, распластались на рельсах, лезли на буфера, на подножки теплушек. Их невозможно было оторвать от мужей.

Это проводы...

На вокзал сбежалось все уездное начальство. Вид у начальства растерянный, жалкий. Не знают, как быть с бабами...

Вызвали специальный наряд из местной конвойной команды.

Конвойные бережно брали на руки присосавшихся к рельсам и вагонам баб, уносили их с перрона куда-то в глубь вокзала. Бабы кричали так, как-будто их резали.

*

У меня сидит поэт Анчишкин. Случайно забрел брат хозяина — сектант-толстовец, цепкий и ловкий начетчик, Макар Афанасьевич Сюткин, с лопатообразной русой бордой.

Энергичное чисто русское лицо испорчено оспой. Голубые чуть-чуть раскосые глаза отливают фантастическо-азиатским упрямством.

Поражает меня феноменальной памятью. Великолепный знаток Толстого. Цитирует на память целые страницы...

Во всем остальном, что не относится к толстовству, круглый невежда. Безграмотен.

Но говорит проникновенно. Искренен безусловно.

Слушая его, невольно прощаешь ему безграмотность, узко сектантскую резкость и любишься им...

Был три года в ссылке в Восточной Сибири, сидел за свои убеждения несколько раз в тюрьме, и, как видно, ничто не сломило его.

Отрицает все: Запад, культуру, церковь. Резко высказывается против войны. Сцепился с Анчишкиным.

Когда Сюткин вышел, Анчишкин дал ему свою оценку.

— Эти «бунтари» государству не опасны. Пошебортят немного для виду и сядут на свой шесток. Все эти,

с позволения сказать, анархисты, доморощенные философы, начиненные яснополянской окрошкой, проповедники, искатели правды, справедливости, отрицатели, святоши и странники — просто юродствующие себялюбцы, пройдохи или дегенераты с разжиженными, отравленными монгольским фатализмом мозгами.

— А вы, Граве, как смотрите на это?

Он топорщится и краснеет как девица.

— Я того же мнения...

— Вы за войну, стало быть? — спрашиваю я в упор.

Лиловые пятна ползут через щеки и виски к кончикам его ушей. Пунцово-красный от натуги, он с комичной торжественностью говорит:

— Я не пасынок своей родины... И в грозный час испытаний не встану в ряды ее изменников и предателей.

— Ой, как громко!

Граве, насупившись, молчит.

Анчишкин крепко жмет ему руку.

— Молодец! Вы хоть и немец по происхождению, но по духу истинно-русский человек.

— Давно известно, — говорю я, — что новообращенные католики щеголяют необычайной ревностностью и бывают католичнее самого папы. Генрих Гейне констатировал это даже в отношении евреев, переходящих в католичество. То же самое можно сказать про иностранцев, акклиматизировавшихся в чужой стране.

Анчишкин сосредоточенно сосет желтую японскую сигаретку и барабанит пальцами по крышке стола.

Граве напрягнулся, готовый прыгнуть на меня. Щетина волос, коротко подстриженных ежиком, шевелится:

— Мы двести лет в России. Мой дед и прадед дышали русским воздухом, привольем российских степей... Какой я иностранец? И вообще это ослиное, кабацкое, эстрадное остроумие не делает вам чести...

•

Запасные разгромили две казенных винных лавки и «рейнской погреб» Магомета Тухваттуллина. Тухваттуллин бегал за погромщиками и на коленях умолял «попасть его имущество». Плакал, целовал сапоги пьяных мужиков. Его отталкивали и не слушали.

Все «имущество» — вино — тут же на улице делили и распивали.

Полиция, повидимому, бессильная что-либо сделать для «восстановления порядка», притаилась по углам, не подает признаков жизни.

Солдаты отказались стрелять в погромщиков.

В «правительственных сферах» городка страшное смятение. Затребованы силы из губернии.

Воинский запретил учителям женской гимназии устройство платного спектакля в пользу воинов.

В городке пьянство невообразимое...

Как-будто люди предчувствуют кончину мира и поэтому торопятся все пропить.

То-и-дело вспыхивают кровопролитные драки.

В кривых пыльных переулках, укутанных «белой акацией», рябиной и черемухой, надсадно визжит гармошка.

После казенок запасные начали громить бразжниц и пивоварок. В настороженной тишине ласкового летнего вечера отчетливо слышен звон разбиваемых стекол...

Пьяные, дерзкие и похабные выкрики...

У бражниц, которые запираются на засовы, посры-
вали с петель двери.

Гулянье...

«Начальство» гуляет, конечно, за закрытыми дверями,
не массовым порядком. Что за этими закрытыми дверями
и окнами творится, мне неизвестно. Я наблюдаю лишь
улицу.

•

Три недели сижу в этой окурковской дыре и изнываю
от безделья.

Москва не отвечает на мои запросы, и я прикован
молчанием к месту.

В городке все та же мобилизационная горячка и рос-
сийская бестолочь.

•

Перебрался в губернский город.

Живу в «Европейской гостинице».

Грязь в этой «Европе» далеко не европейская.

Неизменные полчища блох, клопов, тараканов, пау-
тина в углах.

Цены за постой «по случаю войны» взвинчены вдвое.
Кит Китычи, как им и полагается, ловят рыбку в мутной
воде.

Откуда-то с'ехала масса народа. Номеров нехватает.
Хозяин от удовольствия потирает руки. Кому война,
кому прибыль.

В губернском городе то же самое, что в миниатюре на-
блюдал я в уезде. Разница лишь количественная. В де-
лах, в людях — во всем.

Запасные разгромили на окраинах винные лавки и
публичные дома. «Губернские Ведомости» однако об этом

ни слова. Ведь нужно отмечать «патриотический порыв», а не «омрачать» картину.

Центральных газет невозможно достать. Чистильщики сапог превратились в газетных спекулянтов. Сапоги чистить никто не хочет.

Спекулянты скупают утром все газеты и пускают их по «повышенной» цене.

Бульварная дрянь «Копейка» идет за двадцать копеек.

Это ли не ажиотаж?

Читающая публика на вокзале чуть не дерется из-за газет.

Если война затянется лет на пять, газетчики наживут миллионы.

Они должны быть стопроцентными патриотами.

•

В городе всеобщее опьянение войной.

Купцы и чиновники под руководством местной власти инсценируют непрерывные «патриотические» манифестации.

Собрания. Речи. Проповеди. Тосты.

— Все как один!..

— За веру!..

— За царя!..

— За отечество!..

— За Русь!..

— За славянство!..

— За культуру!..

И, конечно, больше всего трясут патриотическими штанами те, которые никогда на фронт не поедут.

Опьянение войной разыгрывается со страниц охрипшей от желания угодить начальству казенной печати, с церковного амвона, со школьной кафедры, из мучных и мясных лабазов, с театральных подмостков, из среды местных земцев, которые, как говорят, всегда были «левее левого». Цена этой левизны постигается только сейчас, демонстрируется, так сказать, публично.

Все хотят воевать. Все эти слои жаждут итти «бить немца». Всем им кажется, что война несет им выгоды, и все говорят от имени «родины» и «народа».

Вечно влюбленные телеграфисты, писавшие в мирное время стихи в надсоновском духе — чуть-чуть похуже — теперь кричат о защите отечества. Кто будет писать стихи?

Неужели в других городах то же самое?

Как-то Москва? Петербург?

По газетам трудно судить. Врут, как министры иностранных дел, как свахи. Знаем мы эти хвастливые фельетоны. Сами живали в столицах...

*

Дождался...

Мой год призывается в армию.

Заходил в управление воинского начальника. Записали в список, обязали явкой через три дня.

В город прибывают новобранцы из уездов. Держатся новобранцы свободнее, чем запасные. У них больше ухарства, задора, веселости.

А может быть, это оттого, что они холостяки?

На улицах, на бульварах новобранцы при встрече с офицерами прикладывают ладонь правой руки к смя-

тым картузам, к самодельным войлочным шляпам — отдают честь.

Неуклюже становятся во фронт генералам и военным врачам, которых принимают за генералов.

Генералы благосклонно морщатся, отвечают на приветствия небрежным взмахом руки.

*

Витрины магазинов назойливо кричат о войне, выпячивая на первый план всякую мишуру военного обихода.

Жеманно улыбаясь и любуясь собой, разгуливают группы вновь испеченных офицеров в тщательно пригнанных гимнастерках поднебесно-свинцового цвета.

Местные гимназистки и епархиалки окидывают офицеров влюбленно-восторженными взглядами.

Новобранцы внесли в город явно ощутимое оживление. Катаются по главной улице в пролетках и дрожках. Воздух оглашают скабрезные песни, пиликают гармошки.

Лошади в мыле, в пене, в бубенцах...

Экипажи убраны алыми лентами, голубыми бумажными цветами. Может быть, алые ленты — символ крови?..

Прекрасные крутобокые жеребцы-полукровки вороной, серой и рыжей масти грациозно приплясывают под лихие переборы гармошек, под глухие взлеты бубна, под буйные выкрики пьяных седоков. Новобранцы пьяны не столько от алкогольных суррогатов, сколько от всероссийской суеты.

«Чистая» публика морщит нос от разгула «плебса» в центре города.

Гармошка, бубенцы, «Маруся отравилась» и «Последний нонешний денечек» — ведь это «не эстетично».

Но что же делать? Новобранцы — герои дня, защитники «веры», оплот «родины».

«Сам» грозный губернатор разрешил гармошку.

И «чистая» публика великодушно «прощает» и гармошки, и бубен, и все... Дамы бросают в экипажи новобранцев букетики жидких чахоточных оранжерейных цветов...

Мужчины приветствуют новобранцев дружескими возгласами.

Но, кажется, возгласы эти неискренни...

Цветы — дары данайцев...

•

В приемной воинского начальника давка и толкотня. Пахнет махоркой, брагой, потом, перегаром денатурированного спирта.

У дверей мобилизационного отдела колышется вереница голых бронзовых тел. Новобранцы.

Меня смерили, взвесили, справились о состоянии здоровья.

Зачислили в лейб-гвардию.

Через неделю отправка в Петербург.

Анчишкин мобилизован. Граве должен призываться в следующем году, но не выдержал и записался добровольцем.

Все трое — разные люди, с разным отношением к войне — едем вместе...

Спешно ликвидирую дела, распродаю вещи, любимые книги...

Москва попрежнему молчит. Действую в отношении казенного имущества на свой страх и риск.

*

Едем в Питер. Шестьсот новобранцев. Специальный поезд — двадцать теплушек. В вагон натолкали по тридцать душ. Тесно. Шумно. Пахнет специфическим «русским» духом.

На вокзале тягостная сцена прощания. У каждого вагона голосят бабы — матери, жены, сестры...

Никаких патриотических восторгов не видать...

Огромная толпа в сумерках угасающего дня кажется черной и безликой массой.

Все ближе и ближе подбирается она к вагонам, тоненькими струйками прорывая заградительную цепь патрулей.

Пьяненький мещанин в длинной голубой рубаше и в плисовых шароварах навывпуск, кружась около вагонов, лезет к каждому целоваться и высоким голосом выкрикивает:

— Проздравляю! Проздравляю! Уж вы там, ребяташки, тово, не подгадьте... Покажите немчуре кузькину мать.

Вой сливается в истерические выкрики.

Последний звонок... Последние напутствия, утешения, вздохи, ахи, проклятья, благословения, советы, просьбы, обещания, клятвы...

Толчок, царапающий нервы, лязг буферов...

Нам машут с платформы платками, полушалками.

Сдвинулись. Жалобно гукает и стонет паровозная глотка. Паровоз жарко задышал дымом.

Тысячи глаз, мокрых от слез и напряженного любопытства, тянутся к нашим вагонам. Толпа пришла в движение, смяла патрули и бросилась вслед за убегающими вагонами...

Медленно уплываем от дебаркадера на запад, в ласкающую мягкую синь августовского вечера.

Город, утопающий в складках тумана, мигает нам сотнями красноватых языков.

Отчаянно рыдающие, до бесчувствия однообразные переборы гармошек в каждом вагоне.

Это новобранцы заливают тоску.

Волны звуков сливаются в кошачью симфонию. С непривычки хочется удариться головой об стенку вагона и заснуть...

э

*

Едем, едем, едем.

Неподвижно стоят по сторонам ветвистые пирамидальные ели, пихты и сосны. Тяжелые итлистые прутья ядрено-зеленеющих деревьев четко вырисовываются в плотной голубизне нависшего над лесами неба.

Рассекая прозрачно-чистый и звонкий, как хрусталь, лесной воздух и ломая лязгом скрипучих вагонов чуткую тишину подкрадывающейся с севера осени, скользим по лоснящимся стальным путям вперед и вперед.

Долго стоим на узловых станциях, на раз'ездах.

Скорость — двести километров в сутки.

В каждом вагоне солдат с винтовкой.

Это — наши «дядьки».

Точное назначение дядек не ясно ни нам, ни им. В общем они должны нас охранять. От кого? От чего?

Но само собой разумеется, что они должны блюсти «порядок».

В головном вагоне едет ядро охраны из пятнадцати человек под командой старшего унтер-офицера. Наши дядьки подчинены ему.

В каждом вагоне множество туесов, боченков с пивом и бражкой...

Пьянка. Веселье.

— Веселись, душа и тело...

— Отечеству защищать едем!..

Песни — озорные, лихие, буйные. Пляс. Пузырится, хрипит гармонь...

На каждой остановке все вываливаются из нутра вагонов на платформу.

Бесстыдно пристают к бабам, к девушкам, продающим ягоды, молоко...

На каждой остановке — драки.

Вагон на вагон. Стенка на стенку.

— У-р-р-ааа!!.

Заводские на деревенских.

Уезд на уезд.

— У-рр-р-ааа!!!.

В Вологде догнали эшелон новобранцев-вятичей, отправляющихся в Москву в пехоту.

Через пять минут разыгрался форменный бой. Первое «крещение».

Вятичи в драке виртуозы. Пехота одолела императорскую гвардию.

С диким гиканьем, с соловьиным разбойным посвистом гоняли вятичи наших под вагонами, обстреливая щепнем и увесистыми галями.

Некоторых угнали в поле за станцию, ловили поодиночке и избивали.

Человек двадцать получили серьезные ранения: головы и лица в синяках, в крови.

Одному распороли финкой живот.

Дядьки наши не вмешиваются ни во что. Им выгоднее, чтоб новобранцы скоротали дорогу за такими «занятиями», чем задумывались над тем, кто, куда и зачем их угоняет.

Когда драка приняла особо значительные размеры, грозившие целости «государева имущества», каким являются сейчас новобранцы, начальник конвоя вызвал для ликвидации драки городскую пожарную команду. Старинный русский способ. Помогает между прочим.

Я впервые за всю жизнь наблюдал храбрых пожарных в роли водворителей общественного порядка.

Армейскую пехоту с грехом пополам утихомирили, усадили в вагоны и протолкнули на московскую линию. Нашу партию собирали два часа.

Двенадцать душ так и не нашли. Пропали без вести. Как в настоящем «сражении».

Дядьки и вагонные старосты сбились с ног. Начальник конвоя, топорща прокопченные трубой рыжие усы, грозил нам с подножки своего вагона:

— Хулиганы!.. Драчуны!.. Подождите! Дай бог только добраться до Петербурга. Там вам покажут. Возьмут голубчиков в оборот. Всю дурь повытрясут.

Но это говорится «для проформы». Все начальство понимает, что этим способом новобранцы изливают свою

тоску и что, не будь этого, они начали бы громить что-нибудь более важное с точки зрения «государственных устоев».

В вагоны натаскали груды щебня и песку. Во время движения поезда настежь открыты обе двери теплушки. И горе прохожему, попадающему в «сферу досягаемости».

Его обстреливают градом камней.

Когда камень удачно попадает в висок или в темя прохожего, из вагонов несется одобрительный хохот. Рукоплескания приветствуют меткого стрелка.

А там, внизу, под насыпью, оглушенный человек, отирая платком выступающую из раны кровь, грозит нам в бессильной злобе кулаками.

— Жулье!.. Чингис-ханы!..

Кое-где в вагоны затащили девок и держат на положении арестованных.

Едем. Едем. Едем.

Отмечаем слезами и кровью каждый шаг.

Кровавая дорога и нерадостная...

*

Какая масса леса!

На протяжении тысячеверстного пути по обеим сторонам плотной стеной стоят нетронутые хвойные и листовые массивы.

Изредка мелькают желто-бурые волнистые просторы полей, маленькие деревушки и села с деревянными церковками и запечатанными по случаю войны «казенками»,

Рядом с хорошими сосновыми избами под железом ютятся жалкие покосившиеся хибарки на курьих ножках с бараньей брюшиной в окнах вместо стекол. Это — у самой «чугунки», а что же дальше?

Дальше патриархальный быт, кремень, трут, лучина, лешие, водяные, домовые, ведьмы, колдуны, знахарки, громовые стрелы, килы, почечуй, бог, Илья-пророк, разъезжающий на колеснице по небесной мостовой.

Культура дальше чугулки не идет. И вот эту многоликую, серую, вымирающую от дикости, темноты и на логов деревню взнуздали, пришпирили, вздернули на дыбы и сказали:

— Иди и бей немца, ибо немец есть враг мировой культуры...

Пермяки и вятичи, оторванные от обычного труда, призваны защищать не только веру, царя и отечество, но и «мировую культуру».

На станции «Уклеика» разгромили буфет, разграбили все до последнего кусочка.

Теперь громят на каждой станции.

— Кровь проливать едем!

— Чего там? Бей! Бей!

И быют. Разносят в щепы буфеты, ларьки, лавчонки, лотки.

Все, как водой, смоем через десять минут после нашего приезда на станцию.

Буфетчики в ужасе разбегаются.

— Кровь проливать едем, а вы, паразиты, наживаетесь тут!

— Бей, не жалея! Бей!

— Сия дудка моя, ух-я...

— Веселуха моя, ух-я!..

У дядьки нашего вагона, Чеботаренко, длинные пушистые усы и маленькие миндальные глазки.

Грустно качая бритой головой, он спрашивает меня:

— Що же такое робится на билом свити? Що робится? Очумели хлопцы зовсім.

Шалости новобранцев по сравнению с тем, что готовит начальство на фронте — микроскопическая капля в море.

— А ну, хлопцы, давайте-ка лучше солдатские песни спивать, — суетится Чеботаренко, сбивая в тесный круг непокорную толпу.

— Давай! Давай!

И смешно балансируя негибким телом, по-птичьи взмахивая руками, дядька заводит:

— Пишет, пишет царь Германский,
Пишет русскому царю... гу-гу-гу...

Неожиданно ставшая дисциплинированной людская масса стройно подхватывает:

— Всю Россию завоюю,
И тебя в полон возьму... гу-гу-гу...

Хорошо поют новобранцы. Дядькины глаза-миндалинки увлажняются. Он весь в движении, в экстазе творчества. Дирижирует и руками, и ногами, и губами, и головой.

Он доволен, дядька. Еще бы: дисциплинирует новобранцев патриотической песней...

У Анчипкина раздвоение. Как западник, как человек высокой культуры, он должен проклинать новобранцев за их грубость, за грабеж. Как патриот, он должен им все прощать, быть оптимистом, ибо это — живая сила страны, опора, народ-богоносец, который...

И он, часами не вылезая из своего угла на верхней полке, благоразумно закрывает на все глаза. Прячет совесть в пушистых ресницах и молчит, молчит...

Граве, видимо, во власти тех же противоречий. Когда я указываю на разгром буфетов, он сердито отмахивается руками и, ворочая синими жолудями глаз, бормочет что-то невнятное о пагубных последствиях татарского ига, которое, как известно...

Поля кое-где проросли грибами ржавых суслонов. Над короткой густой щетиной ячменей и буро-зеленых овсов сутулятся белые рубахи мужиков, пестрые кофты девок и баб.

Страда.

И вглядываясь из-под руки в серебряное сверкание отполированных соломой серпов, Анчипкин садится на своего любимого конька.

— Запад и мы. Там вот машины, а здесь дубина. Там «Осборн Колумбия», «Эльворти». Здесь — серп, лукошко, горбушка-коса, самоделки-грабли. Ох, как далеко обогнал нас Запад!

*

Каменный двор, нагретый осенним солнцем, принял эшелон в свое пыльное чрево. Выстроили в две шеренги. Явился старенький генерал в грязных лампасах. «Увещевать» начал.

Говорит о родине, о долге, о чести гвардейского мундира, который нам предстоит носить...

Говорит долго, маятно. Слушать его нудную казенную речь тяжело. Все, что говорит он, известно из газет. Новобранцы слушают, понуро опустив головы вниз. Фетишизм генеральских эполет магически давит на их психику, но сухие слова генерала летят мимо, не доходя до сердца, не проникая в сознание.

Дневной зной висит в воздухе, спущенный запахом земли, пересохших трав и паровозной вонючей гари.

Каким-то тяжелым прессом давит грудь, выжимая из тела испарины пота. Часто и беспокойно колотится сердце.

Хочется новых, освежающих, великих слов. А он все говорит так тускло, безграмотно и необедительно.

— Поняли, братцы? — кричит генерал. И, не дожидаясь ответа, торопливо вытирает платком вспотевшее красное лицо.

Робкий нестройный гул пробегает по сомкнутым рядам новобранцев.

Большинство натужно молчит.

Генерал окидывает всех взглядом, сверкающим тупой яростью. Изменившимся голосом кричит резко и грубо:

— Сопляки! Мальчишки! Сволочи! Щенки! Буфеты грабить! Защитники родины!

В потоке ругани генерал странно преображается. Перед этим он казался неловким актером в чужой роли, играющим с первой репетиции под суфлера.

Его отборную ругань слушали гораздо внимательнее, чем «научные» рассуждения о долге и совести.

Все знают, что ругается он «для порядка»...

После генерала вынырнул откуда-то священник с аналоем. Дядьки скомандовали снять шапки, подогнали ближе к аналою.

Молились с обнаженными головами под открытым небом.

Просили бога о «даровании побед российскому православному воинству», о здоровья «царствующего дома», о «ненавидящих и обидящих нас».

По окончании молебна священник говорил проповедь.

Говорил то же самое, что и генерал, только иными словами. Кропил нас святой водой и ласково просил не громить в дороге буфетов и колбасных лавочек. Умолял не поддаваться козням дьявола...

*

Ни увещания генерала, ни назидания священника впредь не пошли. На первой же станции опять разгромили буфет, проломили голову буфетчику.

— Уж везли бы хоть скорей, прости господи! — вздыхает дядька соседнего вагона, зашедший в гости к нашему Чеботаренке. — Беда чистая с ними, такие галманы.

— Ведь нас порасстрелять могут за это дело. Им что? Они новобранцы, присяги не принимали, стало быть, с них и взять-то нечего. А кто в ответе? Конечно, дядьки. Зачем, скажут, смотрели? Почему допустили? Верно говорю?

Чеботаренко утвердительно кивает головой.

— Я тоже кажу так.

— А ты попробуй, «не допусти» их. Попробуй!

Чеботаренко молчит, попыхивая трубкою, прячет хитрую усмешку в глубине миндальных глаз.

— Пойтить и нам, нешто, на боковую? — говорит Чеботаренко своему коллеге, выбивая об пол вагона трубку.

— Пойдем-ка и то, — равнодушно бросает тот и свешивает ноги за борт вагона.

С могучим храпом останавливается паровоз у маленькой станции, затерявшейся в дубровах.

*

Чем ближе под'езжаем к Петербургу, тем сильнее неистовствует и озорует эшелон.

Бьют стаканы на телеграфных столбах, стекла в сторожевых будках и вокзалах, обрывают провода.

В нашем вагоне появились ящики с продуктами, картинки, окорока, связки колбас, баранок. Трофеи.

На одной немудрой станции встретили чуть не в штыки. О наших художествах была дана телеграмма местному начальнику гарнизона. Он выслал на вокзал дежурную полуроту в полной боевой готовности.

Не знаю, какой наказ был дан дежурной полуроте, но она вела себя довольно агрессивно.

Кое-кому из наших забияк пришлось познакомиться с прикладом русской трехлинейной винтовки.

Холодная вода и приклад почти равноценны. Все при-
смирели и до самого отхода поезда не выходили на перрон. Архангелы с винтовками разгуливали под бортами вагонов, ехидно улыбаясь и многозначительно подмигивая.

Только после третьего звонка из вагонов полетели камни, цветистая ругань, горсти песка.

Наши местили полуроте за «обиды».

*

Петербург.

Все как-то сами по себе ступевались и вошли в «норму».

Кончились шутки, баловство.

Гудели, как пчелы в цветнике, но было в этом гудении что-то новое.

Коноводы драк поблекли, притихли.

Может быть, это город-гигант придавил всех своим волнующим величием?

Пригнали в казарменный двор.

Плотным бурым гримом ложилась на влажные размяченные лица городская пыль. Пахло асфальтом, помоями, жженным камнем и гнилью.

Выстроили в две шеренги и продержали неподвижно несколько часов. Ждали генерала.

Для начала недурно.

Явилась комиссия: генералы, полковники, обер-офицеры.

Один из членов комиссии, вооруженный мелом, писал на груди каждого новобранца какую-нибудь цифру — номера полков.

Началась разбивка по запасным батальонам.

Встали рядом я, Граве, Анчишкин.

Я был в старенькой любимой студенческой тужурке. Генерал задержался около меня, раскуривая папиросу.

— Студент? Какого факультета?

Я ответил.

Молоденький поручик вывел мелом на правом боку моей тужурки затейливую семерку. В раздумьи остановился перед Граве, жирно черкнул и ему и Анчишкину по жирной семерке.

Комиссия двинулась дальше. Моему соседу слева поставили шестерку. Он шопотом выругался.

— В третью гвардейскую дивизию меня ахнули!

— Чем плохо? — спросил я, поворачивая к нему голову.

— Дисциплина каторжная; у меня тамotka брат служит, знаю.

*

Неприветливо встретила нас казарма. «Государево войско», а житьишко немудрое.

Грязь, темнота, теснота. Натолкали, как снопов в овин.

Нары в три яруса. На верхних душно, не продыхнешь, на средних и нижних глаз раскрыть нельзя: мусор сверху сыплется.

Стены казармы «живописно» размазаны.

В неряшливых линиях рисунков и орнаментов чувствуется опытная рука суздальского художника.

Содержание картин любопытно.

Изображена в лицах «история государства российского». На первом месте, конечно, подвиги армии, содействующие росту и укреплению «родины».

Под картинами выведены изящной славянской вязью пояснительные тексты.

Русские везде побеждают. На какую стену ни взглянешь — всюду постыдное бегство неприятеля.

Бегут монголы, татары, кавказцы, англичане, немцы, французы, турки. Больше всего досталось от суздальца туркам. С турками у русских царей исконная вражда. Воевали много раз.

Беглый осмотр казарменных стен приводит к заключению, что история российской армии состоит из одних подвигов.

•

Начальство сразу взяло нас в ежовые рукавицы.

Отделенные и взводные — не то, что сопровождавшие в вагонах дядьки.

Строгость — ни охнуть, ни вздохнуть; ноги протянуть без санкции начальства нельзя.

В уборную хочешь — иди с рапортом к отделенному ефрейтору.

Ефрейтор — начальство шибко маленькое, но мал зверюга, да зубастый.

Куражится ефрейтор над солдатом больше, чем любой полковник.

Полковник далеко, когда еще попадешь ему на грозные очи, а ефрейтор всегда под боком; пилит и тянет ежечасно.

Сапоги на поверке не блестят — наряд вне очереди. Пуговицы тусклы — наряд.

Клямор не блестит — гусиным шагом ходи.

•

Известные общественные круги, те самые, что погнали народные массы на войну, в Петербурге, естественно, больше всего расцвечиваются в нарядные одежды патриотизма и шовинизма. Высшие и средние слои буржуазии и чиновничества везде демонстрируют национальную гордость, непримиримость и воинственный пыл, благо сами они прочно оконались в тыловых штабах и канцеляриях.

Разговоры о войне буквально висят в воздухе. Несчастного немца склоняют на все лады.

Петербургские немцы и чухонцы ежедневно подвергаются оскорблениям. Некоторых под шумок избивают в темных переулках.

Особенно ретивые патриоты агитируют за немецкий погром.

Все, кто кормится и рассчитывает кормиться от войны, громко кричат о непоколебимой мощи российского и союзного воинства.

Смешно наблюдать это бахвальство невежд, не имеющих никакого представления о войне, о соотношении сил воюющих держав.

Читая ежедневно суворинские фельетоны, обыватель полагает, что он в курсе всех событий.

*

Нас спешно готовят для фронта. С утра до позднего вечера муштруют на плацу. Кажется, в военном деле самое главное — шагистика.

Часами маршируем изнурительным редким учебным шагом. Ежедневно проливаем семьдесят семь потов. Белье, гимнастерку приходится выжимать.

И откуда столько пота у человека?

На строевых занятиях взводные то-и-дело кричат:

— Крепче ногу!

— Ногу крепче!

— Вытягивай носок!..

Мы с остервенением вытягиваем носок и бухаем тяжелым сапогом в землю. Особенно крепко ставим ногу после предварительной команды.

Народ как на подбор: рослый, здоровый, каждая нога — пудовая кувалда.

А начальство, любуясь эффектом, зычно кричит:
— Крепше ногу! Крепше!..

Преображенцы и семеновцы шагают реже, не вытягивают носок.

Ходят, как армейская пехота.

Нас они вышучивают:

— Эй, вы!.. Это вам не Варшава. Здесь город на болоте стоит, ногами топать не полагается.

*

От шагистики распухли ноги. Ночью их страшно ломит, и я не могу спать.

Удивительный народ полковые врачи.

Еще в университете я слышал много невероятного про их диагнозы, рецепты, методы лечения, но воспринимал это как анекдоты.

Оказывается, вся военная медицина — сплошной анекдот.

Все внутренние болезни и головные боли в армии лечат **касторкой**.

Внешние — **иодом**.

На осмотр десяти пациентов военный врач тратит не более пяти минут.

В его глазах все нижние чины — симулянты, которые стремятся при помощи медицины избавиться от военной службы.

Мои распухшие ноги тоже хотели смазать иодом.

Запротестовал. Фельдшер доложил о моей дерзости врачу.

Врач взглянул на мои оголенные, уродливые от опухоли икры, поднял на меня невозмутимо-изумленные глаза и раздельно, внушительно скомандовал:

— Извольте выйти вон! Вы здоровы!

Не верил своим ушам и замер на стуле в оцепенении, в немой неподвижности.

Глаза врача как-то странно замигали:

— Нахал!.. Я тебе говорю или нет??

Как подхваченный пружиной, вскочил со стула и начал надевать сапоги. Руки и ноги дрожали от жгучей обиды. Когда я оделся, врач фельдфебельским басом крикнул:

— Кру-гом!.. В казармы шагом ма-арш!

Больше в околодок никогда не пойду.

*

На уроках словесности никак невозможно удержаться от смеха.

Нарушаю смехом торжественное благочиние, и меня наказывают. Получил уже пять нарядов вне очереди.

Глупее солдатской словесности ничего нельзя и придумать.

Отделенные и взводные в словесности сами ничего не смыслят. Коверкают слова уморительно.

В нашей роте ни один человек не может выговорить правильно слово *хоругвь*. Говорят: *херугва*.

Нужно знать всех особ царствующего дома.

Нужно знать все военные чины от ефрейтора до главнокомандующего.

Нужно знать фамилии всего ротного, полкового, бригадного, дивизионного и корпусного начальства. Всю эту

тарабарскую премудрость мы, как попугаи, зубрим ежедневно.

Фамилии у начальства трудные, запомнить их—мука.

Штабс-капитана фон-Таубе солдаты зовут: «Вон Тумба».

Поручика Зарембо-Ранцевича — «Репа в ранце».

Подпоручика фон-Финкельштейна — «Вон Филька Шеин».

«Вон Тумбы» и «Репы в ранце» вносят некоторое разнообразие в серую казарменную жизнь.

Когда я раздражаюсь гомерическим хохотом, взводный грозит набить мне «морду».

Пока еще не бил. А человек он «сурьезный», пожалуй, что и набьет когда-нибудь.

Тяжела ты, серая шинель!

*

Рано утром вызвали в кабинет к ротному командиру. Вежливо пригласил сесть.

— Вы студент?

— Уже кончил, ваше высокоблагородие.

— Мы направляем вас в школу прапорщиков. Получили приказ. Через неделю вас возьмут из роты. Война, видимо, затянется. Предстоит большой спрос на офицерский состав. Вы рады, конечно? А теперь пока идите отдыхать. Я сделаю распоряжение, чтобы вас не выводили больше на строевые занятия.

— Ваше высокоблагородие... Я не поеду в школу прапорщиков.

На лице капитана удивление и, кажется, искреннее.

— Это почему-с? — Голос звучит иронически.

И эта ирония замораживает меня. Становится неловко.

Говорить с ним не хочется.

— Не желаю.

— Полагаю, это не секрет? Объясните, пожалуйста, причины уклонения?

— Я не хочу занимать командную должность.

Он сокрушенно покачал головой.

— Это очень прискорбно. Ну, что ж. Я уважаю и мнения других. Только вы это мненьице оставьте уж лучше пока при себе. Думайте там себе как хотите, но влиять в этом отношении на других — боже вас сохрани! Вам придется тогда познакомиться не только с полковой гауптвахтой, но с учреждениями, более приспособленными для исправления вредного направления мысли. Я в этом тверд, как скала. Имейте в виду: не потерплю!

Когда я по его предложению поворачиваюсь на каблуках и шагаю к двери, он кричит мне вслед:

— А все-таки подумайте еще о школе. Рапорт я отложу до завтра.

Я остался при своем первоначальном мнении.

•

Немцы успешно продвигаются к сердцу Франции. Передовые колонны немецкой армии находятся в двухстах пятидесяти километрах от Парижа. На подступах к «городу революции» идут кровопролитные бои. Потери с обеих сторон колоссальны.

На нашем фронте пока затишье. Наши войска только разворачиваются.

Немцы нас не беспокоят.

План немецкого командования слишком ясен: сначала раздавить французов и затем всей силой обрушиться на неповоротливую русскую армию.

В связи с «предстоящими событиями» во Франции образовано министерство «национальной обороны».

Военное министерство возглавляется Мильераном. В кабинет входят также и Жюль Гэд, Марсель Семба. Эти люди называют себя социалистами.

В Петербурге ходят упорные слухи, что Париж в скором времени будет занят немцами.

В печати появляются — вероятно, продиктованные французским посольством в Петербурге — осторожные заметки, напоминающие о том, что русская армия должна помочь союзникам отстоять Париж.

*

Анчишкин и Граве тоже отказались идти в школу прапорщиков. Оба рвутся на фронт, у каждого свои соображения.

Граве боится, что война кончится через несколько месяцев и ему не придется понюхать пороху.

Анчишкин торопится громить немцев и, между прочим, собирать материалы для поэм.

Мне, Граве и Анчишкину пристрочили красные погоны с пестрыми кантиками по краям.

Не хотел надевать. Фельдфебель пригрозил гауптвахтой. Гауптвахта — панацея от всех зол.

Погоны вольноопределяющегося дают некоторые плюсы и минусы.

Плюсы: офицеры стали более вежливо обращаться: вместо *ты* говорят *вы*. Только ефрейторы попрежнему

мне тыкают. Для них не существует фетишизма пестрых кантиков. Ефрейтор — выше закона.

Минусы: изменилось отношение солдат. Почувствовали во мне чужого человека. Мои «странности», на которые они раньше не обращали внимания, всплыли теперь перед ними в новом фантастическом свете.

Вчера в обед я слышал, как новобранец Зимин говорил по моему адресу:

— Не иначе — для шпиенства за нами приставлен. Почему он ходит с книжкой? Почему записывает все, что ни скажешь?

— Правильно!.. Правильно! — подтвердил собеседник.

— По всем признакам барин, а спит с нами в казарме. Зачем?

— Шпиен!.. Остерегаться надо. Начальство при ем ругать не след. Упекут живо, сволочи.

Второй взвод — Бондарчука — это своего рода штрафной батальон.

Пружинистый, сухой, с жестким взглядом глубоко ввалившихся серых глаз, он все занятия превращает в уроки мордобития.

Особенно неистовствует на колке чучел, при изучении ружейных приемов.

Очень своеобразный бокс: одна сторона наносит удары, а другая, не защищаясь, принимает их как должное.

Любимый прием Бондарчука — удар в подбородок снизу.

Люди падают от этих ударов в обморок, прокусывают языки, теряют раздробленные зубы.

Придя с занятий, «клиенты» Бондарчука долго плачут бессильными слезами.

Но эти слезы не трогают меня, а скорее раздражают. Плакать всякий умеет.

Я зачитывался Герценом, Чернышевским, Михайловским. В типичной кабинета плакал над «страдающими» мужиками Григоровича, Успенского, Каронина, Решетникова, Левитова, Короленко...

Сейчас вот, когда на моих глазах бьют по скулам этих самых настоящих, не книжных мужиков, я вместо того, чтобы плакать вместе с ними, уткнувшись в грязную подушку, «сочувствовать» им, начинаю все больше и больше ненавидеть проявляемое ими терпение, хотя и понимаю, что это — терпение до поры, до времени.

Я начинаю понимать, что для изменения этих порядков необходимо не толстовское непротивление, а революционное насилие.

Какими словами, в самом деле, можно охарактеризовать плач двадцатилетних парней почти саженного роста, способных свалить ударом кулака любого буйвола?

*

В сентябре переехали из казармы в лагери.

Покидал Петербург с большим удовольствием. Самые плохие лагери — лучше хорошей казармы.

Целый день на лоне природы. Солнце, воздух, аромат полей и чухонских деревьев.

Но палаток не хватило на всех. Нашу роту разместили в... кавалерийской конюшне.

В ней пахнет конским потом, навозом. Нет ни одного окна, только форточки. Высокий потолок напоминает

цирк. Везде паутина и, конечно, пауки, мыши, разная нечисть...

И те же деревянные казарменные нары в три яруса.

Утром и вечером выходим на переднюю линейку. Поверка.

Поем: «Спаси, господи, люди твоя» и «Боже, царя храни».

Двенадцать батальонов поют одновременно. Что думают про себя новобранцы во время исполнения этой казенной обязанности?

Нам начальство усиленно прививает «вумные» понятия о необходимости умирать за свое отечество.

Вчера был очень интересный урок словесности. Явился новый прапорщик. Показывал свою ученость.

Записал из любопытства его «лекцию» почти стенографически.

«Любовь к своему отечеству — врожденное чувство каждого человека. Те, которые (кто, например?) нас учат ненавидеть отечество — негодяи!

Древние греки были умнейшим и культурнейшим народом, а посмотрите, как они любили отечество.

Патриотизм, любовь к отечеству — это было основой благочестия древних.

Умереть за свои очаги, за свои алтари, за своих богов, за свои города считалось в древнем мире высшим счастьем». И т. д.

В заключение прапорщик прочел нам военную песню древних греков, сложенную за семьсот лет до рождения Христова.

Новобранцы сидели на уроке с осовелыми от скуки глазами.

Из ста человек едва ли кто знал что-либо о древних греках, с которых нужно брать пример, у которых нужно черпать воодушевление для борьбы с немцами.

Почему-то вспомнились злые слова Л. Толстого:

«Древние греки—уродливый черный народец. Умели хорошо рисовать только голых баб».

*

Я смотрю на солдат и думаю: «Не правда ли, как вас хорошо охраняет и защищает «отечество»? Не может быть, чтобы новобранцы не испытывали ненависти к этому отечеству, которое олицетворяется военным начальством сейчас и всяким местным прежде и которое готовит из них пушечное мясо, мучает и калечит их, травляет из них человеческую душу».

В строю я часто впадаю в какое-то странное мечтательное состояние.

Хочется забыться, закрыть глаза, чтобы не видеть дурацкой муштры.

Трудно что-либо делать, когда не веришь в пользу дела. Самое тяжелое наказание для человека — это заставить его выполнять ненужную никому работу.

Витая в эмпиреях, я часто прослушиваю предварительную и исполнительную команду, делаю ошибок не меньше любого татарина.

Когда командуют «налево», я поворачиваюсь «направо» и наоборот.

Удивляюсь, как меня еще ни разу не били.

Вероятно, спасают погоны.

Взводный несколько раз говорил мне перед лицом всего взвода:

— Если бы не был ты вольнопером, я бы тебе всю ряшку исколотил. Чем ты слушаешь?

А сегодня он авторитетно изрек:

— Здесь тебе, брат, не университет. Здесь надо мозгами ворочать.

В университете, по его ослиному мнению, занимаются какими-то пустячками, а в казарме, видите ли, вселенская премудрость изучается. И все военные думают так. Какой-нибудь хлыщ в лакированных крагах, наверное, убежден, что уметь ходить с нагло выпяченной вперед грудью неизмеримо выше умения обращаться с интегралами и дифференциалами, а умение обращаться со станком или сохой в его глазах уж и подавно ничего не стоит.

*

Ежедневно ходим на тактические занятия. Небо расвирипело на кого-то. Сутками хлещут проливные дожди.

Болота вокруг Красного Села вспухли от воды и сделались почти непроходимыми. Плохое место выбрал Петр для своей столицы.

Бродим по колено в воде, вязнем в липкой болотной ржавчине, в тине. Иногда лежим, рассыпавшись цепью в глубоких лужах.

Это нас «закаляют», воспитывают воинский дух.

Приходим с занятий продрогшими до костей и грязные как землекопы.

Часами чистим шинели и брюки, чтобы на завтра снова купаться в чухонских болотах.

*

В перерывах между занятиями резко спорю с Граве и Анчишкиным о «проклятых» вопросах.

Я возмущен муштрой и мордобитием.

Анчишкин зло кричит:

— Попробуйте иначе построить боеспособную армию. Возьмите наших союзников: разве там миндальничают с нижним чином? А Германия? Там, батенька, построже нашего еще. Ручки свяжут и на стену повесят. Все равно как на дыбе вздергивают. Вы же не будете отрицать, что немцы — высоко-культурная нация. Значит — так нужно. С принципами гуманизма в армии делать нечего. Ступайте с ними во всякие общества «покровителей животных» и т. п.

Но чаще всего спорим о войне, о религии.

Спорим резко, грубо, до ругани.

Ровный и сдержанный Граве становится неузнаваем. С момента объявления войны религиозность его повысилась, и всякие нападки на религию он воспринимает как личное оскорбление. Он совершенно безнадежен, объясняет все — и войну тоже — высшей волей.

*

Час от часу не легче.

Заочно записали в фельдшерские ученики.

Не хочешь итти в прапорщики — ступай в ротные фельдшера.

Категорически отказался.

Вывзвали к батальонному.

Генерал-майор, на широкой выпуклой груди «Аннушка», «Владимир» и еще какие-то регалии в несметном количестве.

Широкое русское лицо с голубыми глазами, нос чуть-чуть с краснотой. Типичный рубака. В молодости, наверное—бреттер.

Встретил с притворной ласковостью, расспрашивал о родных, об университете.

А в конце концов разнес меня «впух». Кричал, топал ногами, брызгал слюной.

Ну, и характерец!

*

Взводный на колке чучел каждому говорит:

— Как ты колешь, стерва!.. Ты забудь, что перед тобой соломенная чучела. Воображай, что немец, австрияк, аль-ба турок неверный.

Вообрази — и коли благословясь. Когда подбежишь вплотную, коли без сожаления в сердце, коли с остервенением. Врагу пощады давать нельзя.

Из этих поучений новобранец должен усвоить, что солдату жалость в кармане носить не полагается, что жалостью торгуют доктора, священники и женщины, что новобранец есть только солдат, и никакой жалости ему проявлять к врагу нельзя.

И когда стрелок, выслушав мудрую тираду начальства, с криком «ура» бежит с ружьем наперевес к соломенному чучелу, взводный орет:

— Стервеней! Стервеней! Стервеней, мать твою за ноги!

После удачного пыжкового удара он с удовлетворением отмечает:

— Так его, мерзавца! Будет знать наших!

Получивший похвалу солдат отходит в сторону, тяжело дыша, проклиная в душе чучело и утомительную колку.

А взводный уже наставляет другого:

— Стервеней!.. Говорят тебе — стервеней! Надуйся! Надуйся, остервеней и тычь прямо под микитки!

*

Великий князь Николай Николаевич кончил молебствия и отдал приказ о наступлении. То, что было до сих пор — прелюдия. Теперь началась настоящая война.

Армия генерала Самсонова в составе пяти корпусов ударила по немцам в районе Млава — Сольдау. Завязались тяжелые бои.

Из ставки летят ликующие телеграммы о первых «значительных успехах».

*

Скептики оказались правы.

Армия генерала Самсонова уничтожена почти целиком. Наши потери превзошли всякие ожидания. Называют цифру в двести тысяч человек. Сегодняшние газеты точно воды набрали. Но о несчастьи под Сольдау знают уже все части петербургского гарнизона.

Слухи проникли в офицерскую среду. От офицеров через денщиков — в солдатскую массу.

Генерал Самсонов по одной версии взят в плен, по другой — видя гибель своей армии, застрелился.

Оптимисты, торопившиеся с наступлением, винят теперь во всем Николая Николаевича.

— Мы знали заранее. Мы это предвидели. Какой он главнокомандующий? Это — икона! Это Куропаткин № 2. Нужно не молиться, а действовать, уметь предвидеть, маневрировать.

Все же неудача не сокрушила казенного оптимизма тех, для кого оптимизм — профессия и служебная обязанность. По крайней мере, они этого не показывают.

— В начале войны нам, русским, всегда не везет, — говорят они. — Так было в 1712 и в 1812 годах. Первые поражения нам необходимы, они вызывают грандиозный подъем духа во всех слоях населения. В первых поражениях сгорает наш национальный недостаток — лень.

Встретил в обед Граве.

— Оскандалилась наша непобедимая, — говорю я ему.

Сдержанно пожимает плечами.

— Ничего не поделаешь. Судьба. Все в руках всевышнего.

Меня взорвало это тупоумие.

— Не пойму, Август Оттович, какому богу вы молитесь. Христу, изгоняющему кнутом торгующих из храма, или Христу, учившему подставлять правую щеку, когда бьют по левой? Или наконец богу Синозы и богу Бергсона.

Он обиделся и густо покраснел.

— С вами бесполезно говорить на эти темы. Вы не верите в наличие бога. Не верите в историчность евангелий. Что ж? Дело вкуса. Теперь безверие становится модой.

Не дожидаясь моих возражений, он строго поджал сухие губы, повернулся и пошел прочь.

Какой кретинизм, в самом деле!

Спрятался за широкую спину своего бога и думает, что ему все ясно. Нашу армию разбили — так бог захотел. Холера скосила полдесятка губерний — так захотел бог. Под трамвай попал на улице и ног лишился — так бог захотел.

Сто тысяч на бегах выиграл—опять тот же бог помог.

Попы, выдумавшие бога, создали хороший заслон для тех, кто творит всякие мерзости, защищая этим заслоном прогнивший класс эксплуататоров от гнева эксплуатируемых.

Я спекулирую на бирже, создаю искусственный голод, развратничаю, пью, убиваю, воюю, граблю, но мое дело маленькое. Я ни за что не ответственен. Мало ли куда я ехал: я—не я, лошадь—не моя. Надо мной есть бог, ему виднее, что и как. Всякий мой шаг и удар предопределены свыше.

Выгодно всем Граве жить с такой философией.

•

Сегодня в газетах напечатано:

«Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы около двух корпусов, подвергнувшихся самому сильному обстрелу тяжелой артиллерии, от которой мы понесли большие потери...

Генералы Самсонов, Мартос, Пестич и некоторые чины штабов погибли...»

В офицерских кругах серьезно говорят об измене генерала Ренненкампа и министра Сухомлинова.

Но как бы там ни было, русская армия переходом в наступление отвлекает внимание и силы немцев на свою сторону.

Спасает Париж...

•

Отделенный первого отделения нашего взвода Шлаков, поправляя в строю мордвина Анапова, так сильно дернул его за ухо, что сзади лопнула кожа и кровь струйками потекла по шее, заливая ворот гимнастерки.

Анапов—на-редкость тихий и симпатичный парень—стоял с побелевшим лицом неподвижно, как статуя, не смея даже вытереть кровь; только вздрагивающие губы выдавали его внутреннее волнение.

Шлаков вывел Анапова из строя и приказал ему идти во взвод.

Проводив его, возмущенно кричал:

— Нагнали теперь всякой сволочи: мордва, чувашья, татарва, черемисия! Недостает только жидов. Скоро и жидов пригонят, пожалуй. Теперь такое время—все можно ожидать. И это лейб-гвардия? Разве могут инородцы что-нибудь понимать? Ты его, сукина сына, хошь на-смерть изувечь—все равно дураком останется. Никогда в мирное время такого дерьма в гвардию не брали.

Слушая отделенного, я старался—и никак не мог—понять: для чего он нам это все говорит?

Может быть, он оправдывался перед нами за оторванное ухо Анапова?

Может быть, давал теоретическое обоснование физического воздействия на малоуспевающих учеников?

Окончив речь, Шлаков начал вертеть нас во все стороны и покрикивал с утроенною энергией.

Никто из нас не проронил ни звука. Мы ничем не давали своего отношения к тому, что произошло. Было стыдно, и сердце щипала тоска.

В обеденный перерыв ушел в уборную, не спросив разрешения у отделенного ефрейтора.

Он набросился на меня с злой руганью. Израсходовав запас ругательных слов, крикнул:

— Гусиным шагом вдоль взвода, марш!

Я отказался.

— Ни в каком уставе не сказано, господин отделенный, что за самовольную отлучку в уборную в свободное от занятий время нужно гонять провинившегося гусиным шагом. Гусиный шаг вообще, кажется, не рекомендуется военным министром.

Вероятно, отделенный в первый раз слышал такую «дерзость» от молодого солдата.

Он обалдел на минуту от неожиданности и как-будто над чем-то задумался, сморщив свой низкий лобик, выпукло выходящий из-под козырька сбитой на затылок фуражки, но быстро справился с собой.

— Как? Что такое?! Как ты смеешь, лахудра, перечить? Руки как держишь? Руки по швам! Нашил шнурки на погоны, так думаешь—тебе все можно? Я те покажу!

Он двинулся на меня с поднятыми руками.

На нас смотрел весь взвод.

Весь дрожа, я еле держался на ногах от внезапно охватившего меня возбуждения. Я тоже вытянул вперед кулаки и бросился к отделенному с явным намерением...

Должно быть, «лик мой был ужасен»—отделенный, слова не сказав, опустил занесенный на меня кулак и, повернувшись на каблуках, рысью выбежал из помещения взвода. Вслед ему неся разноголосый злорадный смех солдат. Мне сочувственно улыбались, меня успокаивали наивно и неумело.

Я лег на свою постель. На душе было мерзко. Все казалось ужасно глупым.

Хорош бы я был в драке с ефрейтором.

Грубо, глупо, идиотски глупо, но все-таки я бы ударил его.

Через десять минут меня позвали к нашему ротному командиру.

Он прочел мне целую лекцию о недопустимости моего поведения. Говорил что-то о разлагающем влиянии на солдат, а я, слушая его краем уха, думал о чем-то постороннем и хотел только одного: чтобы меня поскорей отпустили и оставили в покое.

Кончив нравоучение, сказал:

— А сейчас я отправлю вас на гауптвахту на трое суток.

Я молчал, точно меня это не касалось. Мне казалось, что капитан обращается к какому-то абстрактному русскому солдату.

— Вольноопределяющийся Арамилев! На гауптвахту шагом ма-арш!

Слова команды вывели из столбняка.

Я с облегчением повернулся, радуясь тому, что наконец «свободен».

Взводный третьего взвода проводил меня и сдал под расписку дежурному по гауптвахте.

*

Из рядов и весей, из затерянных уголков стекаются в наши казармы материнские и отцовские «грамотки» посланцами нижайшими, с подробными описаниями всех семейных и деревенских событий.

В. Арамилев

Почтальон ежедневно приносит в ротную канцелярию пачку грязных, засаленных самодельных конвертиков, испещренных кривыми иероглифами адресов.

В предприверочный перерыв письма раздаются. Это — самый счастливый час для солдата. Люди, насильно оторванные от близких, от родной обстановки, замурованные в стенах казармы, только и живут письмами.

Письма связывают их с другим миром, поддерживают горение души, активность, волю к жизни, дают то, без чего нельзя жить на земле.

Получение писем в казарме, как и в тюрьме, — праздник.

Великая радость льется со страниц письма в болезненно обнаженную душу солдата.

И этот единственный, редкий час радости, которого с таким нетерпением ждет каждый, начальство умудрилось превратить в час скорби, слез и проклятий.

Выдачу писем производят взводные командиры.

И, конечно, они не преминули обратить ее в балаганное зрелище, в дикое издевательство над человеком.

Солдаты не могут получить от взводного письма по пять — шесть дней.

Взводный Бондарчук заставляет каждого пришедшего за письмом ходить на руках, плясать, петь. Когда находит пляску неудовлетворительной, велит приходить за письмом на другой день.

Взводный Хренов пришедшему за письмом приказывает:

— Расскажи, как с девкой первый раз согрешил.

Женатым предлагает рассказать о «первой» брачной ночи...

И когда рассказчик, стесняясь присутствующих, старается быть лаконичным, избегает сальностей, Хренов командует «кругом» и не отдает письма.

Взводный Черемичка любит, чтобы приходящие за письмами говорили громко, брали под козырек, не доходя десяти шагов, останавливаясь за пять шагов, опускали правую руку одновременно с пристукиванием каблуков. Словом, к нему нужно подойти по «всем правилам». Для молодого солдата это не так легко.

Подопедавших не по правилам Черемичка немилосердно заворачивает назад. Некоторые подходят за письмами по двадцать раз и все-таки получить не могут.

Каждый день перед поверкой во взводе Черемички отчаянные мольбы:

— Господин взводный, разрешите молодому солдату Тимохину получить письмо?!

— Кругом! Как подходишь, баба рязанская?!

— Господин взводный, разрешите молодому солдату Тимохину получить письмо?!

— Кругом! Сукин сын, как подходишь?!

Я пришел к заключению, что начальство ищет повода поглумиться, поиздеваться над несчастным солдатом. Безграничная власть, данная деспотизмом всякому маленькому начальству над телом и душой солдата, делает всех начальников садистами, и они сладострастно измываются над своими жертвами. Когда придет конец этому порядку

Вчера ночью ко мне на постель приполз солдат-тихоня Теткин и, заплетаясь, смахивая кулаками расплывающиеся по щекам слезы, торопливо зашептал:

— Напиши моей матери, сделай милость. Напиши. Сам я неграмотный. Напиши, чтобы она мне совсем не

посылала писем, совсем чтобы. Понимаешь?! Измучил меня взводный, сил нет более. Две недели хожу за письмом и не могу получить.

Его грузное сырое тело нервно вздрагивало от сдерживаемых рыданий. Голые ноги в извилинах бурых вен тряслись мелкой и частой дрожью.

Охваченный приливом жалости и глубокой тоски за человека, я говорил ему какие-то нежные—чужие—слова и гладил своей ладонью его колючую остриженную под машинку голову.

Предложи мне в эти минуты кто-нибудь итти избивать «начальство», взял бы из козел винтовку и пошел бы без колебаний.

Пошел бы, даже заранее будучи уверенным в провале предприятия.

И так мы заснули с Теткиным на одной постели, тесно прижавшись друг к другу.

Ночью он вскакивал в бреду и кричал:

— Господин взводный, разрешите молодому солдату Теткину...

Утром я написал его матери длинное письмо.

Сколько нужно пережить, чтобы пойти на подобную жертву?

*

Предполагаются маневры под Царским Селом. Кто-то пустил слух, что на маневрах будет присутствовать шеф нашего полка, великий князь Николай Николаевич, числящийся по списку на службе в первой роте.

Один из офицеров полка написал песню, посвященную «Его Высочеству».

Песня нескладная, идиотски напыщенная, как стихи телеграфиста! На месте еще поем с горем пополам, а как тронемся—под ногу ничего не выходит.

Из степи ковыльной далекой
Могучий державный орел прилетел
Окинул орлиным прозорливым оком
Широкого царства далекий предел.

Тягуче под редкий шаг выводят запевалы.
Пропустив два шага, мы под левую ногу подхватываем
припев:

Всегда впереди он на белом коне,—
На мирном параде и в бранном огне,
Всегда впереди он на белом коне,—
На мирном параде и в бранном огне...

— Отставить, — кричит ротный. — На месте шагом
арши!

И мы, стоя на месте, «толчем воду в ступе», нелепо раз-
махиваем руками, опять начинаем сначала.

И так до сотни раз.

Убедившись, что наука нам на пользу не идет, ротный
гонял нас по шоссе сорок минут. Бегали, высунув языки,
как гончие, потерявшие заячий след. Шопотком ругали
неприличными словами и виновника предстоящего тор-
жества, и автора окаянной, не поддающейся спевке песни.

— Повесить их обоих на одной березе!—задыхаясь от
гонки, крикнул кто-то в первом взводе.

Начальство было позади, выкрика не слышало.

*

Под свежим впечатлением разворачивающейся на Даль-
нем Востоке трагедии русско-японской войны, под грохот

пушек, под свист пуль, под дружный хрип и тывканье патриотических шавок родился в 1904 году «Красный смех» Леонида Андреева.

Здесь был протест против войны, как против безумия и насилия, но не было анализа причин этого безумия и не указано было средств к прекращению его.

Сегодня Леонид Андреев в стане империалистов-патриотов и вместе с продажным сбродом, с полоумными славянофилами кричит не своим голосом:

«Война до победного конца!!! Война с немцами—борьба за мировую культуру, за прогресс, за право, за справедливость!!!»

Леонид Андреев проходит этапы, по которым шло большинство русской интеллигенции.

Грозно и решительно он проклинал прежде войну:

«...Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разружьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить. Люди умирают...»

Тогда он был молод, Леонид Андреев.

А теперь, когда ясно, что этой слезницей никого не проймешь, что надо действовать, чтоб прекратить войну, что есть путь революционной войны пролетариата против империалистической войны, — Леонид Андреев заговорил о «культуре», которую будто бы спасает война...

Когда нам двадцать лет и на голове студенческая фуражка, мы крайне левые революционеры. Мы бакунисты, прудонисты, бланкисты, фурьеристы, марксисты. Читаем Герцена, Чернышевского, Михайловского, Плеханова, Писарева.

В тридцать лет мы женимся, обзаводимся мещанским уютом, канарейками, болонками, получаем местечко за общественным пирогом. Читаем умеренную литературу. Становимся либералами.

В сорок лет мы—консерваторы. Читаем только газетную хронику, «Брачную газету», иллюстрированные журналы. Усердно посещаем церковь.

Леонид Андреев сегодня вступает в третий этап истории нашей интеллигенции — истории, которой не забудут трудящиеся массы.

*

Ночью кто-то наклеил в уборной и на заборе несколько листовок:

«Т о в а р и щ и с о л д а т ы

Никогда еще мир не переживал таких страшных бедствий, как в настоящее время. Миллионные армии десяти больших держав оцетинились штыками, встали одной стеной друг против друга и сеют на пути своем смерть и разрушение.

Гибнут в борьбе сотни тысяч людей, реками льется кровь, громадные пространства земли опустошаются огнем и мечом и превращаются в пустыни, тратятся безумные деньги, собранные из трудовых грошей рабочего люда.

И для чего? Кем все это вызвано? Кому нужны эти жертвы, кому нужны горы трупов, потоки крови, миллионы разоренных семей?

Разве сам народ требовал войны?.. Конечно, нет. Есть картина знаменитого русского художника Верещагина. Называется она: «Апофеоз войны» (результат). На без-

жизненном поле насыпана громадная куча человеческих черепов, кругом мертво и пусто, только отъевшиеся вороны сидят и кружатся над этой страшной кучей.

Эти хищники клюют и поедают человеческие останки; здесь им привольно, здесь их царство, тут они нашли богатую добычу.

Разве не то же происходит в действительности?

Миллионы рабочего люда идут и ложатся костями, чтоб накормить своими трупами ненасытную стаю хищников-капиталистов.

Вот им да еще разным «помазанникам Божиим» с их приспешниками, захватившими в свои руки политическую власть и стремящимися посредством победоносной войны закрепить ее за собою, и нужна война.

Капиталисты одного государства, гоняясь за миллионными барышами, сталкиваются с капиталистами других стран, вступают с ними в жестокую конкуренцию и доводят дело до войны.

А что же получает от войны трудовой народ, что война ему приносит?

Горы убитых, сотни раненых и искалеченных, миллионы обнищавших и разоренных хозяйств, голод и холод семей, лишившихся своих кормильцев, новые тяжелые налоги—вот что приносит война народу...

И пусть народ не думает, что ему после войны дадут разные льготы, что ему кто-то предоставит землю и волю.

Вспомните японскую войну. Разве война с Японией не принесла народу все ужасы и бедствия?

А когда народ потребовал для себя лучшей доли, лучшей жизни, то что он получил, кроме пуль, нагаек и виселиц?

Таковые же результаты, только несравненно больших размеров, нужно ожидать и от теперешней войны.

Вся власть и произвол нашего правительства сильны только до тех пор, пока вы их поддерживаете, они держатся вашими штыками...

И вам стоит только повернуть свое оружие против тех, кто властвует над вами и пьет вашу кровь, и потребовать дружно и властно земли и воли.

Помните же это, товарищи солдаты!... И не забывайте, что, добившись «земли и воли», вы, вернувшись домой, найдете там только нищету и разорение...

А над вами все так же будут сидеть и кружиться стаи хищников-воронов и клевать вам глаза и пить вашу кровь»¹.

Начальство, обнаружив листовку в «расположении вверенных частей», переполошилось.

Приходил охранник в штатском. Назойливо выпрашивал солдат, читавших листовки. Приезжал военный следователь. Целая история.

•

Произвели повальный обыск.

Отделенные добросовестным образом перетряхивали наше белье и рухлядь.

У меня забрали несколько номеров «Биржевки», «Нового Времени» и «Братьев Карамазовых».

Прапорщик Быковский от имени ротного об'явил мне, что ни книг, ни газет без ведома командира роты в помещение казармы приносить нельзя.

¹ Дана в сокращенном виде.

«Биржевка» и «Братья Карамазовы» пошли на цензуру.

На военной службе глупостью вымощена даже дорога в клозет, но такие глупости встречаются не часто.

*

Сухой теплый осенний вечер. Тихо струится нагретый вечерний воздух. В разливах золотистой травы плещется догорающее солнце. Над рощами пожелтевших деревьев вьется тонкое газовое марево.

Возвращались с тактических занятий по Царскосельскому шоссе.

По боковым тропинкам пестрой цепочкой идут дамы с «детками», гимназистки, запоздалые дачники с картонками. Проходя мимо нас, они задерживаются на минуту и молча провожают взглядами.

Фельдфебель скомандовал:

— А ну-ка, молодцы, запевай, что ли.

Песенники точно ждали этой команды. С первого шага согласно рванули:

Вниз да по речке,
Вниз да по Казанке.
Серый селезень плывет...

Рота, легко взявшая ногу, подхватила припев:

Три деревни, два села.
Восемь девок, один я.
Девки в лес по малину...

.
.

Дальше шли явные непристойности, которые всегда приводили в восторг фельдфебеля и взводных.

Когда мы проходили мимо женщин, фельдфебель всегда заставлял нас петь эту похабщину.

Солдаты поют заключительную строфу припева с цыганским присвистом, с хрюканьем, с горловыми забубенными выкриками.

Видя, что я не раскрываю рта, фельдфебель подлетел ко мне и грубо, начальнически крикнул:

— Почему не поешь?

— Не хочу.

— Почему?

— Потому, господин фельдфебель.

— Три наряда не в очередь!

Вчера в проходе конюшни встретил фельдфебеля, молодецки вывернул грудь, отдавая ему честь. В глубине души копошился какой-то веселый бес.

Он с любопытством задержал на мне жесткий взгляд, подошел вплотную и, жарко дыша перекисью гниющих зубов, угрожающе-спокойно прошипел:

— Дурак! Дубина! Ишак!

Я окаменел на месте, не понимая, в чем дело.

Фельдфебель пододвинулся еще ближе и, стучая пальцем в мою обнаженную голову, ехидно спросил:

— Позвольте узнать, господин студент, у вас тут опилки набиты или сенная труха?

Почувствовав на своем черепе леденящий холодок его руки, я понял свою оплошность. Проходя мимо начальства без фуражки, нельзя отдавать честь: нужно только поворачивать голову, есть глазами начальство и неподвижно вытягивать руки по швам.

Подошли несколько отделенных и взводных, привлеченных скандалом.

И, может быть, желая похвастать перед ними, возбужденный их нездоровым любопытством, фельдфебель приказал мне:

— Сходи за фуражкой, возьми ее в зубы и обойди вокруг конюшни три раза. На каждом шагу кричи: «Я—дурак». Понял?

Я ответил молчанием.

— За фуражкой—арш!—скомандовал фельдфебель.

Я не спеша побрел к себе во взвод и лег на нары.

Вечером засадили на гауптвахту. За то, что отказался обойти три раза вокруг казармы, дали трое суток ареста.

•

На гауптвахте сидит две недели солдат четвертой роты литер «в», Проничев. Из Тульских крестьян. Развитой толстовец. Сидит в третий раз за отказ брать винтовку. Угрожают военным судом.

Фанатически предан своей идее. Рассказывает много интересного о современных толстовцах в Тульской губернии.

Многие интеллигенты, по его словам, опростились, живут в землянках, питаются овощами.

Ночью, когда караульные спали, он дал мне прочесть воззвание толстовской группы, подписанное сорока двумя людьми.

Вот это воззвание:

«Опомнитесь, люди-братья...

Совершается страшное дело.

Сотни тысяч, миллионы людей, как звери, набросились друг на друга, натравленные своими руководителями, во исполнение предписаний коих они почти на пространстве всей Европы, забыв свое подобие и образ божий, колют, режут, стреляют, ранят и добивают своих братьев, одаренных, как и они, разумом и добротой.

Весь образованный мир в лице представителей всех умственных течений и всех политических партий от самых правых до самых левых, до социалистов и анархистов включительно, дошел до такого невероятного ослепления, что называет эту ужасную человеческую бойню «священной» и «освободительной» войной и призывает положить свою жизнь...»

*

Вышел с гауптвахты. Взвод встретил меня с распростертыми объятиями.

Наряды вне очереди и стояние под винтовкой зарабатывает почти каждый, а на гауптвахте из молодых еще никто не сидел.

Гауптвахта окружила меня не совсем заслуженным ореолом.

Теперь в солдатских рядах я опять свой.

Стерлась грань, отделявшая меня ранее от всех остальных.

Мои пестрые кантики на погонах уже не отпугивают никого.

Наперебой угощают меня чаем, дружески хлопают по плечу, расспрашивают про порядки на «гауптвахте». Юмористически изображаю им свой трехдневный отдых в кузке.

Бзвод сотрясается от хохота. И этот смех поднимает настроение, действует так оздоравлиюще.

Мы совершенно отрезаны от внешнего мира.

Письма, которые пишем родным и знакомым, вскрываются ротным командиром.

Многие письма совсем уничтожаются выслуживающимися цензорами из безусых прапоров и полковых писарей.

Задержали письмо к товарищу, в котором, под впечатлением минуты, я цитировал пессимистические афоризмы Шопенгауэра, Гартмана и других философов.

Ротный командир, возвращая забракованное цензурой письмо, безапелляционно изрек:

— В будущем такой чепухи не извольте писать. Вы своими письмами можете скомпрометировать весь полк. Понимаете? При чем тут все эти Шекспир, Шопенгауэры, Гете и им подобные... Они сами по себе, а вы сами по себе. Ваше письмо можно принять за бред сумасшедшего. Это не письмо, а дрянная философская диссертация! Да, да! В гвардейских полках не может быть таких настроений. Письмо не будет отправлено на почту. Если вы попытаетесь отсылать письма частным путем, вам придется отвечать за это по всем правилам военного времени. Предупреждаю...

Вышел из ротной канцелярии с тяжелым чувством, как-будто у меня выхолостили душу.

Письмо разорвал на мелкие кусочки, пустил по ветру.

В обеденный перерыв подошел солдат Писарев и, оглянувшись по сторонам, тайно сказал:

— Сейчас в уборной бумагу будут читать секретную. Если интересуешься, приходи потихоньку.

— Что за бумага? — спросил я, широко раскрыв от удивления глаза.

— Из Самары у одного брат приезжал с гостинцами, он привез. На вокзале в Самаре ему в карман сунули какие-то люди. Велели прочесть будто-де нам, солдатам.

В уборной собралось до трех десятков. Выставили часового.

При гробовой тишине, в удушливой атмосфере клозета читали вслух листовку, отпечатанную на гектографе.

Слушали, как откровение.

«РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Переживаемый момент, когда все народы Европы стоят друг против друга с оружием в руках, когда ежедневно в грандиозных битвах гибнут десятки тысяч людей и когда в этой кровавой войне принимают участие миллионы ваших товарищей, социалдемократия всех стран требует исключительно серьезного к себе отношения со стороны рабочего класса.

А между тем до сих пор почти не было слышно нашего голоса. Это вынужденное молчание наше объясняется тем, что правящие классы всех стран, готовясь к войне и зная, что только в лице рабочих и социалдемократии они имеют единственно убежденных противников затеянной ими мировой авантюры, поспешили принять все меры, чтобы наш голос не был услышан.

С этой целью почти повсюду были закрыты все рабочие социалдемократические газеты, общества и союзы, запрещены всякие собрания, упразднена неприкосновенность переписки, введено военное положение и т. д.

За буржуазной прессой осталась таким образом монополия выражать общественное мнение всего мира, и она принялась ревностно обрабатывать и фальсифицировать его, раздувая повсюду шовинизм, сея семена человеконенавистничества и вражды, предавая на каждом шагу интересы широких масс».

Слушали все, затаив дыхание. Старались вникнуть в смысл малопонятных слов.

Фельдфебельский свисток—на занятия—оборвал чтение.

Летели из клозета, как воробы. Лица светлели новой радостью, смутной тревогой. На-ходу заговорщики подмигивали друг другу и, хлопая по лопатке ладонью, многозначительно кивали:

Сегодня на колке чучел взводный Бондарчук ударил шомполом татарина Шарафутдинова.

Рассвирепевший татарин поднял взводного на штык, встряхнул его и перекинул через голову. Грузным мешком шлепнулось безжизненное тело на утоптаный песок.

Все это совершилось во мгновение ока.

Шарафутдинов отбросил в сторону винтовку с окровавленным штыком. Под перекрестными взглядами замерших от неожиданности солдат и командиров подошел к труп взводного, нагнулся и, смачно чмокнув жирными губами, плюнул ему в перекошенное последней судорогой лицо. Сказал по-татарски крепкое прощальное слово и,

отойдя в сторону, спокойно скрестил на животе длинные руки.

Шарафутдинова увели на гауптвахту.

*

Труп взводного на носилках унесли в штаб батальона.

Красное пятно на плацу дневальный посыпал свежим песком и притоптал ногами.

Через полчаса на том месте, где разыгралась драма, снова звучали слова команды и измученные выпадами, истекающие потом люди снова кололи с разбега соломенное чучело.

Взводные и отделенные старались не смотреть в мутное море солдатских глаз. А солдатские глаза откровенно и вызывающе горели торжеством.

Имя Шарафутдинова, шопотом передаваемое из уст в уста, обходит все роты и команды.

Неграмотный, добродушный и тупой, был он вечным козлом отпущения. Взводные и отделенные издевались над ним.

Особенно доставалось ему на колке чучел. Бондарчук по пяти минут держал его «на выпаде» с вытянутой винтовкой в руках. Пот прошибал татарина, а он, не смея моргнуть, покорно держал тяжелую винтовку в немеющих вздрагивающих руках.

Бондарчук сердито кричал ему:

— Как ты колешь, татарская образина? Разве так колют? Я тебе научу, как колоть.

И учил. И научил...

Тихоня Шарафутдинов стал «преступником».

■

Приняли присягу.

Теперь по воскресеньям можно ходить в город.

Вчера ходил по увольнительной записке до вечерней поверки.

Военная форма ужасно связывает. Мундир—это своего рода вериги, надетые против желания.

На Невском нашему брату, нижнему чину, невозможно гулять.

По обеим сторонам улицы после двух часов идет масса офицеров и генералов. На каждом шагу приходится отдавать честь, становиться во фронт.

От постоянного козыряния через час деревенеет рука, от первого напряжения на теле выступает пот.

Раздражение, нарастая, переходит в густую злобу. Гуляют тысячи кукольных фендриков, которых я не знаю и знать не хочу, но почему-то должен угодливо здороваться с каждым из них.

Когда я прикладываю руку к козырьку фуражки, по всем правилам гвардейской выучки, многие фендрики совсем не замечают моего приветствия и не отвечают на него.

Но это только «дипломатия».

Я хорошо знаю, что стоит мне прозевать, нарушить установленный правилами промежуток времени отдания чести, и первый встречный фендрик сейчас же «заметит» и сделает замечание, после которого я сам должен жаловаться на себя начальству:

«Вы меня великодушно пустили в город. Но я такой невоспитанный дуралей, что не заметил на Невском идущего мне навстречу офицера и не отдал ему чести. Этим я совершил тяжкое преступление против веры, царя и оте-

чества. Накажите меня, пожалуйста, постороже во избежание рецидива...»

Офицеры чувствуют себя героями.

Это сказывается в каждом жесте, в каждом взгляде, брошенном вскользь на проходящую женщину, в каждом движении выхоленного тела.

И откуда столько взялось вылощенных бездельников и дармоедов в крестах?!

Сколько тупости, глупого самомнения, сатанинской гордости и бреттерства в каждом лице, в каждой складке одежды?

Военные профессионалы царской армии—безнадежно падшие, разложившиеся люди.

*

Вчера по случаю праздника получил отпуск, ходил в город.

На обратном пути забрел на окраине в кино. Давался концерт-бал в пользу раненых.

Помещение грязное. Публика специфически окраинная. Многие заметно были под «парами». Осмотревшись, хотел сразу уйти, но что-то удержало...

Первый же номер программы начался скандалом.

Когда конференсье, лысый коротконогий человек с подвижным лицом в необыкновенно высоком воротничке го-голевских времен, жеманно улыбаясь, объявил почтеннейшей публике, что «сейчас M-elle Sophie исполнит романс Чайковского, «патриоты» передних рядов заорали:

— Гимн! Гимн! Гимн!

Распорядители этого номера не предвидели. Вышла заминка. Певица, с нотами выпорхнувшая уже на авансцену, моментально спорхнула за кулисы. Занавес опустили.